В петле

Автор:
Джон Голсуорси

В петле

Джон Голсуорси

Хроники семьи ФорсайтовСага о Форсайтах #3

В ноябре 1932 года Джон Голсуорси стал лауреатом Нобелевской премии по литературе «за высокое искусство повествования, вершиной которого является «Сага о Форсайтах». Страсть, предательство, любовь, ненависть, счастье, отчаянье… Автор показал Англию конца XIX – начала XX века, воссоздав в художественных образах историю клана Форсайтов во времена его «цветения» и упадка.

«В петле» – второй роман саги, в котором представлена история семейства Форсайтов на протяжении долгих лет.

Джон Голсуорси

В петле

И переходят два старинных рода

Из старой распри в новую вражду.

Шекспир, «Ромео и Джульетта»

Часть первая

I. У Тимоти

Инстинкт собственности не есть нечто неподвижное. В годы процветания и вражды, в жару и в морозы он следовал законам эволюции даже в семье Форсайтов, которые считали его установившимся раз навсегда. Он так же неразрывно связан с окружающей средой, как сорт картофеля с почвой.

Историк, который займется Англией восьмидесятых и девяностых годов, в свое время опишет этот быстрый переход от самодовольного и сдержанного провинциализма к еще более самодовольному, но значительно менее сдержанному империализму, – развитие собственнического инстинкта у эволюционирующей нации. И тому же закону, по-видимому, подчинялось и семейство Форсайтов. Они эволюционировали не только внешне, но и внутренне.

Когда в 1895 году Сьюзен Хэймен, замужняя сестра Форсайтов, последовала за своим супругом в неслыханно раннем возрасте, всего семидесяти четырех лет, и была подвергнута кремации, это, как ни странно, произвело весьма слабое впечатление на шестерых оставшихся в живых старых Форсайтов. Равнодушие это объяснялось тремя причинами. Первая – чуть ли не тайные похороны старого Джолиона в Робин-Хилле в 1892 году, первого из Форсайтов, изменившего фамильному склепу в Хайгете. Эти похороны, последовавшие через год после вполне благопристойных похорон Суизина, вызвали немало толков на Форсайтской Бирже – в доме Тимоти Форсайта в Лондоне на Бэйсуотер-роуд, являвшемся, как и прежде, средоточием и источником семейных сплетен. Мнения разделились между причитаниями тети Джули и откровенным заявлением Фрэнси, что отлично сделали, положив конец этой теснотище в Хайгете. Впрочем, дядя Джолион в последние годы своей жизни, после странной и печальной истории с женихом своей внучки Джун, молодым Босини, и женой своего племянника Сомса – Ирэн, весьма явно нарушал семейные традиции; и эта его манера неизменно поступать по-своему начала казаться всем своего рода чудачеством. Философская жилка в нем всегда пробивалась сквозь толщу форсайтизма, и в силу этого истинные Форсайты были до некоторой степени подготовлены к его погребению на стороне. Но, в общем,

во всей этой истории было что-то странное, и когда завещание старого Джолиона стало «ходячей монетой» на Форсайтской Бирже, все племя заволновалось. Из своего капитала, представлявшего сумму в 145 304 фунта минус налог на наследство в размере 35 фунтов 7 шиллингов 4 пенсов, он оставил 15 000 фунтов – «кому бы вы думали, дорогая? – Ирэн!» – сбежавшей жене своего племянника Сомса, Ирэн, женщине, можно сказать, опозорившей семью и, что самое удивительное, не состоявшей с ним в кровном родстве! Не капитал, конечно, а только проценты, и в пожизненное пользование! Но все-таки; и вот тогда-то права старого Джолиона на звание истинного Форсайта рухнули раз и навсегда. И это была первая причина, почему погребение Сьюзен Хэймен в Уокинге не произвело особенно сильного впечатления.

Вторая причина была уже несколько более наступательного и решительного свойства. Сьюзен Хэймен, кроме дома на Кэмден-Хилл, владела еще поместьем в соседнем графстве (доставшимся ей после смерти Хэймена), где мальчики Хэймены совершенствовались в искусстве верховой езды и стрельбы, что, конечно, было очень мило и вызывало всеобщее одобрение; и самый факт, что она являлась собственницей земельных угодий, до некоторой степени оправдывал то, что прах ее был развеян по ветру, хотя каким образом ей взбрела мысль о кремации, этого они никак не могли себе представить. Традиционные приглашения, однако, были разосланы, и Сомс присутствовал на похоронах вместе с молодым Николасом, и завещание всеми было признано вполне удовлетворительным, поскольку это было возможно в данном случае, так как она была только пожизненной владелицей своего состояния и все оно в равных долях беспрепятственно переходило к детям.

Третья причина, почему похороны Сьюзен не произвели особенно сильного впечатления, отличалась безусловно наиболее наступательным характером, и ее весьма смело резюмировала бледная, тощая Юфимия: «Я полагаю, что люди имеют право распоряжаться собственным телом даже и после смерти». Подобное заявление дочери Николаса, либерала старой школы и большого деспота, было крайне удивительно: оно явно показывало, сколько воды утекло со времени смерти тети Энн в 86?м году, когда право собственности Сомса на тело его жены начало вызывать кое-какие сомнения, что и привело впоследствии к такой катастрофе. Конечно, Юфимия говорила как ребенок, у нее не было никакого опыта, ибо, хотя ей перевалило далеко за тридцать, она все еще носила фамилию Форсайт. Но, даже принимая все это во внимание, ее замечание, несомненно, свидетельствовало о расширении понятия свободы, о децентрализации и о стремлении применить основной принцип собственности прежде всего к самим себе. Когда Николас услышал от тети Эстер о замечании

своей дочери, он пришел в негодование. «Ах, эти жены и дочери! Нет пределов их теперешней свободе!» Он, конечно, до сих пор не мог вполне примириться с законом о собственности замужних женщин, который ему доставил бы много неприятностей, не женись он, к счастью, до того, как этот закон вошел в силу. Но поистине трудно было не замечать возмущения молодых Форсайтов тем, что ими кто-то распоряжается, и, подобно стремлению колоний к самоуправлению, этому парадоксальному предвестию империализма, возмущение это неуклонно прогрессировало. Все они теперь обзавелись семьями, за исключением Джорджа, неизменного приверженца ипподрома и «Айсиум-клуба», Фрэнси, преуспевавшей на музыкальном поприще в студии на Кингс-роуд в Челси и по-прежнему появлявшейся на балах со своими поклонниками, Юфимии, живущей с родными и вечно жалующейся на Николаса, и «двух Дромио» – Джайлса и Джесса Хэйменов. Третье поколение было не так уж многочисленно: у молодого Джолиона было трое, у Уинифрид Дарти четверо, у молодого Николаса как-никак шестеро, у молодого Роджера один, у Мэриен Туитимен один, у Сент-Джона Хэймена двое. Но остальные из шестнадцати сочетавшихся браком: Сомс, Рэчел, Сисили – дети Джемса; Юстас и Томас – Роджера; Эрнест, Арчибальд, Флоренс – дети Николаса; Огастос и Эннабел Спендер – дети Хэйменов – жили из года в год, не воспроизводя рода.

От десяти старых Форсайтов произошел двадцать один молодой Форсайт, но у двадцати одного молодого Форсайта было пока только семнадцать потомков, и сколько-нибудь значительное увеличение этого числа уже казалось маловероятным. Любитель статистики, вероятно, отметил бы, что прирост форсайтского потомства изменялся в соответствии с размерами процентов, которые им приносил их капитал. Дед их, «Гордый Доссет» Форсайт, в начале девятнадцатого столетия получал десять процентов и имел, соответственно, десять детей. Эти десять, за исключением четырех, не вступивших в брак, и Джули, супруг которой, Септимус Смолл, не замедлил скончаться, получали в среднем от четырех до пяти процентов и в соответствии с этим и плодились. Двадцать один Форсайт, которых они произвели на свет, теперь едва получали три процента с консолей, переданных им отцами по дарственной во избежание высокого налога на наследство, и у шестерых из них, у которых были дети, родилось семнадцать человек, то есть как раз два и пять шестых на каждого родителя.

Были еще и другие причины этой столь слабой рождаемости. Неуверенность в своей способности зарабатывать деньги, естественная, когда достаток обеспечен, вместе с сознанием, что отцы еще не собираются умирать, делала их осторожными. Когда есть дети, а доход не особенно велик, требования вкуса

и комфорта должны неминуемо снизиться: что достаточно для двоих, недостаточно для четверых и так далее; лучше подождать и посмотреть, как поступит отец. Кроме того, приятно жить в свое удовольствие, без помех. В сущности, им гораздо больше нравилось не иметь детей, а распоряжаться самими собой по собственному усмотрению в соответствии со все растущей тенденцией «fin de si?cle»[1 - Конца века (фр.); декадентской.], как тогда говорили. Таким образом они избегали всякого риска и приобретали возможность завести автомобиль. Действительно, у Юстаса уже был автомобиль, правда, он на нем здорово расшибся и выбил себе глазной зуб, так что, пожалуй, лучше подождать, пока они не станут немножко безопаснее. А пока что – довольно детей! Даже молодой Николас забастовал и за три года к своим шестерым не прибавил ни одного.

Тем не менее упадок корпоративного чувства у Форсайтов, вернее, их разобщенность, симптомы которой были налицо, не помешали им собраться, когда в 1899 году умер Роджер Форсайт. Лето простояло прекрасное; после поездок за границу или на курорты все они уже вернулись в Лондон, как вдруг Роджер, со свойственной ему оригинальностью, весьма неожиданно скончался у себя дома на Принсез-гарденс. У Тимоти грустно шушукались, что бедняга Роджер всегда был несколько эксцентричен в еде, – кто, как не он, предпочитал немецкую баранину всякой другой?

Как бы там ни было, его похороны в Хайгете прошли вполне благопристойно, и, возвращаясь с них, Сомс Форсайт почти машинально направился к дяде Тимоти на Бэйсуотер-роуд. «Старушкам» – тете Джули и тете Эстер – будет интересно послушать про похороны. Джемс, его отец, в восемьдесят восемь лет не в состоянии был присутствовать на столь утомительной церемонии, а Тимоти, конечно, не поехал, так что из братьев присутствовал только Николас. Но все-таки народу собралось достаточно, и тетям Джули и Эстер приятно будет узнать об этом. К этому доброму желанию примешивалась непреодолимая потребность извлечь что-нибудь полезное и для себя из всего, что ни делаешь, – наиболее характерная черта всех Форсайтов, как, впрочем, и всех здравомыслящих людей каждой нации. Привычку являться со всякими семейными делами к Тимоти на Бэйсуотер-роуд Сомс перенял от отца, имевшего обыкновение по крайней мере раз в неделю навещать своих сестер у Тимоти и изменившего этому правилу, только когда ему стукнуло восемьдесят шесть лет и он утратил силы настолько, что не выезжал один без Эмили. А бывать там с Эмили не имело никакого смысла: ну можно ли толком поговорить в присутствии собственной жены? Как, бывало, Джемс, Сомс теперь почти каждое воскресенье находил время зайти к ним и посидеть в маленькой гостиной, где благодаря его

авторитетному вкусу произошли кое-какие перемены: появился фарфор, правда не вполне отвечающий его собственным высоким требованиям, а на Рождество он подарил им две картины сомнительных барбизонцев. Сам он чрезвычайно выгодно разделался со своими барбизонцами и вот уже несколько лет как перешел к Мэрисам, Израэльсу, Мауве и надеялся разделаться с ними еще более выгодно. В его загородном доме на берегу реки близ Мейплдерхема, где он теперь жил, у него была галерея, в которой картины были искусно развешаны и прекрасно освещены; редко кто из лондонских продавцов не побывал в этой галерее. Она служила также приманкой для гостей, которых его сестры Уинифрид и Рэчел привозили к нему время от времени по воскресеньям. И хотя он был весьма неразговорчивым гидом, его спокойный, сдержанный детерминизм обычно производил впечатление на гостей, которые знали, что его репутация коллекционера основана не на пустой эстетической прихоти, а на способности угадывать рыночную будущность картины. Когда он приходил к Тимоти, у него почти всегда был наготове рассказ о победе, которую он одержал над тем или иным скупщиком, и он очень любил воркующие изъявления гордости, с которой его слушали тетушки. Однако сегодня, явившись к ним с похорон Роджера в изящном темном костюме, не совсем черном, потому что дядя, в конце концов, всего только дядя, а Сомс не терпел чрезмерного проявления чувств, он был настроен несколько необычно. Откинувшись на спинку стула маркетри, закинув голову и уставившись на небесно-голубые стены, увешанные золотыми рамами, он был заметно молчалив. Потому ли, что он только что был на похоронах, или почему-нибудь другому, характерный форсайтский склад его лица сегодня проступал особенно четко – продолговатое худощавое лицо с решительным подбородком, который казался бы непомерно выдающимся, если бы с него убрать мясо, – словом, лицо, в котором преобладал подбородок, но в общем не некрасивое. Сегодня он сильнее, чем когда-либо, чувствовал, что обитатели дома Тимоти – это собрание неисправимых чудаков и что тетушки его, в сущности, унылые викторианские старушки. Единственно, о чем ему сейчас хотелось бы поговорить, было его положение неразведенного мужа, но об этом говорить было невозможно. Однако это занимало его настолько, что он ни о чем больше не мог думать. Началось это у него только с весны, и новое чувство, бродившее в нем, подстрекало его к чему-то такому, что самому ему казалось сущим безумием для Форсайта в сорок пять лет. С недавних пор он все больше и больше отдавал себе отчет в том, что идет в гору. Его капитал, довольно значительный уже в то время, когда он задумал построить дом в Робин-Хилле, дом, разрушивший его супружескую жизнь с Ирэн, за эти двенадцать одиноких лет, в течение которых он мало чем интересовался, вырос необычайно. Сомс стоил теперь свыше ста тысяч фунтов, ему некому было их оставить, и у него не было никакой цели,

ради которой стоило бы продолжать следовать тому, что было его религией. И если бы даже рвение его ослабло – деньга деньгу любит, гласит пословица, а он сознавал, что, не успеет он оглянуться, у него будет полтораста тысяч фунтов. В Сомсе всегда были сильны чувства семейственности и чадолюбия; обманутые, заглушенные, они были глубоко спрятаны, но теперь, когда он был, как говорится, в цвете лет, они стали снова прорываться; и в последнее время, когда его увлечение молодой, бесспорно красивой девушкой конкретизировало их и как бы собрало в фокус, они стали истинным наваждением.

Девушка эта была француженка, по-видимому не склонная поступать опрометчиво или согласиться на неузаконенное положение. Да и самому Сомсу такая мысль претила. За долгие годы своей вынужденной холостой жизни ему приходилось сталкиваться с низменной стороной любви, тайно и всегда с отвращением, так как он был брезглив и обладал врожденным чувством законности и приличия. Он не хотел тайной связи. Свадьба в посольстве в Париже, несколько месяцев путешествия – и он привезет обратно Аннет, окончательно порвавшую с прошлым, правду сказать, не весьма импозантным, так как она всего-навсего вела бухгалтерию в ресторане своей матери в Сохо; он привезет ее обратно совершенно обновленную и шикарную, так как у нее, как у француженки, много вкуса и самообладания, и она будет царить у него в «Шелтере»[2 - Убежище, кров (англ.).] близ Мейплдерхема. На Форсайтской Бирже и среди его загородных знакомых распространится слух, что он во время путешествия познакомился с очаровательной молодой француженкой и женился на ней. Женитьба на француженке – в этом есть известный cachet[3 - Печать изысканности (фр.).], это может даже показаться романтичным. Это его не страшило. Вот только его проклятое положение неразведенного мужа и неизвестность, согласится ли Аннет выйти за него, – этого вопроса он не решался касаться до тех пор, пока не будет в состоянии предложить ей вполне определенное и даже блестящее будущее.

Сидя в гостиной у своих теток, он рассеянно, краем уха слушал обычные вопросы: как здоровье его дорогого батюшки? Он, разумеется, не выходит из дому, ведь теперь уже становится свежо? Сомс должен непременно передать ему, что от этой боли в боку Эстер очень помог отвар остролистника: припарки через каждые три часа, потом укутаться в красную фланель. И, может быть, ему понравится – они приготовили для него совсем маленькую баночку их лучшего варенья из чернослива – оно в этом году на редкость удалось и действует замечательно. Ах да, насчет Дарти, слышал ли Сомс, что у милочки Уинифрид большие неприятности с Монтегью? Тимоти полагает, что кто-нибудь должен вмешаться в это и заступиться за нее. Говорят – но пусть Сомс

не считает это за совершенно достоверное, – что он подарил драгоценности Уинифрид какой-то ужасной танцовщице. Какой пример для юного Вэла, да еще как раз теперь, когда мальчик поступает в университет! И Сомс ничего не слышал об этом? Ах, ну, он непременно должен навестить сестру и узнать, в чем дело. А как он думает, эти буры действительно будут воевать? Тимоти ужасно беспокоится. Консоли стоят так высоко, и у него столько денег вложено в них. Как Сомс думает, они непременно должны упасть, если будет война? Сомс кивнул. Но ведь это, конечно, очень скоро кончится. Для Тимоти было бы ужасно, если бы это затянулось. И милому батюшке Сомса это было бы очень тяжело в его возрасте. К счастью, дорогой Роджер избавлен от этого ужасного испытания. И тетя Джули смахнула носовым платочком большую слезу, пытавшуюся взобраться на неизменную припухлость на ее левой, теперь уже совершенно дряблой, щеке: она вспомнила милого Роджера, какой он был выдумщик и как он любил тыкать ее булавками, когда они были совсем маленькие. Тут тетя Эстер, инстинктивно избегавшая всего неприятного, быстро переменила разговор: а как Сомс думает, мистера Чемберлена скоро сделают премьер-министром? Он бы мигом все это уладил. И она так была бы рада, если бы этого старого Крюгера[4 - Крюгер (1825–1904) – президент Южно-Африканской Республики до завоевания ее Англией в 1902 году.] сослали на остров Св. Елены. Она так хорошо помнит, как пришло известие о смерти Наполеона и как дедушка был доволен. Разумеется, они с Джули – «мы тогда бегали в панталончиках, мой милый» – немного в этом смыслили.

Сомс взял протянутую ему чашку чаю и быстро выпил ее, закусив тремя миндальными бисквитиками, которыми славился дом Тимоти. Его бледная презрительная улыбка выступила отчетливее. Нет, правда же, его родственники остались безнадежными провинциалами, хоть и владеют чуть не целым Лондоном. Подумать только, старый Николас по-прежнему еще фритредер и член этой допотопной твердыни либерализма – клуба «Смена», хотя, само собой разумеется, почти все члены этого клуба теперь консерваторы, иначе он и сам бы не мог в него вступить, а Тимоти, говорят, все еще надевает ночной колпак. Тетя Джули опять заговорила. Милый Сомс так хорошо выглядит, ни чуточки не постарел с тех пор, как умерла дорогая тетя Энн; как они все тогда собрались вместе: дорогой Джолион, дорогой Суизин и дорогой Роджер. Она остановилась и смахнула слезу, которая на этот раз всползла на припухлость правой щеки. Слышал ли он… слышал он что-нибудь об Ирэн? Тетя Эстер красноречиво передернула плечами. Право же, Джули всегда что-нибудь скажет! Улыбка сбежала с лица Сомса, и он поставил чашку на стол. Ну вот, они сами коснулись того, о чем он думал заговорить, но, как ему ни хотелось открыться, он не в состоянии был воспользоваться предложенной

ему возможностью.

Тетя Джули поспешно продолжала:

– Говорят, милый Джолион оставил ей эти пятнадцать тысяч сначала в полную собственность, но потом он, разумеется, решил, что это неудобно, и переписал в пожизненное пользование.

Слышал ли это Сомс? Сомс кивнул.

– Твой кузен Джолион теперь вдовец. Он ведь ее попечитель, ты, конечно, знаешь об этом?

Сомс покачал головой. Он знал, но не хотел, чтобы они думали, что это его интересует. Он не виделся с молодым Джолионом со дня смерти Босини.

– Он, должно быть, теперь уже совсем пожилой, – задумчиво продолжала тетя Джули. – Позвольте-ка, он родился, когда твой дорогой дядюшка жил на Маунт-стрит, задолго до того, как они поселились на Стэнхоп-гейт – в декабре сорок седьмого года, как раз перед этой ужасной революцией. Да, ему уж за пятьдесят! Подумать только! Такой хорошенький мальчик, мы все так гордились им, он ведь первый был.

Тетя Джули вздохнула, и прядь ее – правда, не совсем ее – волос выбилась из прически и повисла, так что тетя Эстер даже вздрогнула. Сомс встал; он сделал удивительное открытие. Старая рана, нанесенная его гордости, его самоуважению, не зажила. Он шел сюда, думая, что сможет заговорить об этом; он даже хотел поговорить о своем затруднительном положении, и – вот! Он бежит от этих напоминаний тети Джули, прославившейся тем, что она всегда говорит некстати.

О, разве Сомс уже уходит? Сомс улыбнулся чуть-чуть мстительно и сказал:

– Да. До свидания. Кланяйтесь дяде Тимоти.

И, приложившись холодным поцелуем к обоим лбам с бесчисленными морщинками, которые, казалось, льнули и липли к его губам, словно томясь

желанием быть разглаженными его поцелуем, он вышел, провожаемый ласковыми взглядами. Дорогой Сомс, как это мило, что он зашел сегодня, когда они чувствуют себя не совсем…

С щемящим чувством раскаяния Сомс спустился по лестнице, где всегда стоял приятный запах камфары, портвейна и дома, в котором запрещены сквозняки. Бедные старушки – он не хотел их обидеть! На улице он тотчас же позабыл о них, снова охваченный воспоминаниями об Аннет и мыслью о проклятых путах, связывающих его. Почему он тогда же не покончил с этим, не добился развода, когда этот несчастный Босини попал под колеса, ведь у него было сколько угодно улик! Свернув, он направился к своей сестре Уинифрид Дарти на Грин-стрит, Мэйфэр.

II. Светский человек уходит со сцены

То, что светский человек, столь подверженный превратностям судьбы, как Монтегью Дарти, все еще жил в доме, в котором он прожил по крайней мере двадцать лет, было бы много более удивительно, если бы арендная плата, налоги и ремонт этого дома не оплачивались его тестем. Этим простым и в некотором роде коммерческим способом Джемс Форсайт обеспечил своей дочери и внукам известную устойчивость существования. В конце концов, есть нечто действительно неоценимое в надежной крыше над головой такого стремительного спортсмена, как Дарти. Вплоть до событий, разыгравшихся за эти последние дни, он целый год вел себя неестественно мирно. Секрет был в том, что он приобрел на половинных началах кобылу Джорджа Форсайта, который, к ужасу Роджера, ныне успокоившегося в могиле, неуклонно продолжал играть на скачках. Запонка, дочь Страдальца и Огненной Сорочки и внучка Подвязки, была гнедая кобыла трех лет от роду, которая по ряду причин еще ни разу не обнаружила своей истинной формы. Когда Дарти почувствовал себя полуобладателем этого подающего высокие надежды животного, весь его идеализм, скрытый где-то глубоко в нем, как и во всяком другом человеке, ожил и в течение долгих месяцев помогал ему держаться с пламенной стойкостью. Когда у человека появляется надежда на что-то хорошее, ради чего стоит жить, удивительно, до чего он может стать трезвым, а то, что было у Дарти, было безусловно хорошо: три к одному на осеннем гандикапе, при котировке двадцать пять к одному. Допотопный рай был просто убожеством по сравнению с этим – все надежды Дарти держались на Запонке

от Огненной Сорочки. И не одни надежды – куда больше зависело от этого отпрыска Подвязки! В сорок пять лет, в этом беспокойном возрасте, опасном для Форсайтов – и хотя, может быть, менее отличающемся от какого-либо другого возраста для Дарти, но все же опасном и для них, – Монтегью избрал объектом своих неугомонных прихотей некую танцовщицу. Это было серьезное увлечение; но без денег, и при этом без порядочного количества денег, любовь их грозила остаться не менее эфемерной, чем ее балетные юбочки, а у Дарти никогда не было денег; он влачил жалкое существование на то, что ему удавалось выпросить или занять у Уинифрид, женщины с характером, которая терпела его, потому что он был отцом ее детей и из чувства еще не совсем угасшего восхищения перед этими ныне исчезающими чарами с Уордер-стрит, пленившими ее в юности. Она и всякий, кто способен был дать ему взаймы, да еще его проигрыши в карты и на скачках (удивительно, как некоторые люди умеют извлекать выгоду из своих проигрышей) были единственным источником его доходов; Джемс стал слишком стар и раздражителен, чтобы к нему можно было подъехать, а Сомс был чудовищно неприступен. Можно сказать без всякого преувеличения, что Дарти в продолжение нескольких месяцев жил одной надеждой. Он никогда не любил деньги ради денег и презирал Форсайтов с их увлечением инвестициями, хотя и старался извлечь из них пользу, елико возможно. Он ценил в деньгах то, что на них можно купить, – ощущения.

– Истинный спортсмен не интересуется деньгами, – обычно говорил он, занимая двадцать пять фунтов, когда не было смысла пытаться занять пятьсот. Было что-то восхитительное в Монтегью Дарти. Он был, как говорил Джордж Форсайт, истинный «одуванчик».

Утро того дня, в который должны были состояться скачки, взошло ясное, светлое, – утро последнего сентябрьского дня; Дарти, накануне приехавший в Ньюмаркет, облачился в безупречный клетчатый костюм и поднялся на пригорок взглянуть, как его половину кобылы показывают на легком галопе. Если она придет – три тысячи чистоганом у него в кармане, скромная награда за терпение и трезвость всех этих месяцев надежд, пока ее готовили к состязанию. Но поставить больше он был не в состоянии. Может, ему переуступить свою ставку, а разницу поставить в восьми к одному, как она котируется сегодня? Только одна эта мысль и занимала его, пока он стоял на пригорке, и жаворонки пели над ним, и холмы, поросшие травой, благоухали, а хорошенькая кобылка, вскидывая голову, прохаживалась внизу, лоснящаяся, как атлас. В конце концов, если он проиграет, платить будет не он, а если переуступит и поставит в восьми к одному, выигрыш его сократится до полутора тысяч – сумма едва ли достаточная, чтобы приобрести танцовщицу. Но еще

сильнее подзадоривал его присущий всем Дарти азарт игрока. И, повернувшись к Джорджу, он сказал:

– Лошадка классная. Она возьмет, можно ручаться. Ставлю в лоб, на первое место.

Джордж, который поставил и в том и в другом заезде и еще в нескольких других и рассчитывал выиграть, как бы ни повернулось дело, усмехнулся с высоты своего внушительного роста и сказал только: «Хо! Хо! Пошел, голубчик!» – потому что после тяжелой школы, которую он прошел на деньги вечно сокрушавшегося Роджера, его форсайтская натура теперь помогала ему входить в роль собственника.

Бывают в жизни людей минуты разочарований, которые чувствительный повествователь не решится описывать. Достаточно сказать, что дело провалилось. Запонка не пришла. Надежды Дарти рухнули.

В промежуток времени между этими событиями и днем, когда Сомс направился на Грин-стрит, чего только не произошло!

Когда человек с характером Монтегью Дарти занимается в течение нескольких месяцев самообузданием с благочестивыми целями и не получает награды, он не умирает, проклиная бога, а проклинает бога и остается жить на горе своему семейству.

Уинифрид, отважная, хотя и несколько слишком светская женщина, терпеливо выдерживавшая неприятельский натиск своего супруга ровно двадцать один год, никогда не могла себе представить, что он дойдет до того, до чего он дошел. Подобно многим женам, она считала, что уже испытала самое худшее; но она еще не знала его сорокапятилетним, когда он, как и другие мужчины в эти годы, почувствовал: «Теперь или никогда». Заглянув второго октября в свою шкатулку с драгоценностями, она пришла в ужас, обнаружив исчезновение венца и гордости своей женской славы – жемчугов, которые Монтегью подарил ей в восемьдесят шестом году, когда родился Бенедикт, и за которые Джемс весной восемьдесят седьмого года принужден был заплатить во избежание скандала. Она сейчас же заявила об этом своему супругу. Он пренебрежительно фыркнул: «Найдутся!» И только после того, как она резко сказала: «Отлично, Монти, в таком случае я сама пойду

в Скотланд-Ярд», – он согласился заняться этим делом. Увы, случается иногда, что серьезное и стойкое намерение осуществить великое дело неожиданно нарушается выпивкой. Когда Дарти ночью вернулся домой, море ему было по колено и утаить что-либо он был совершенно не в состоянии. В обычных условиях Уинифрид просто заперлась бы на ключ, предоставив ему проспаться, но мучительное беспокойство о судьбе жемчугов заставило ее дождаться его. Вынув из кармана маленький револьвер и опершись на обеденный стол, он тут же заявил ей, что ему совершенно наплевать, ж-живет она или н-не живет, покуда она не скандалит; но что сам он устал – от жизни. Уинифрид, стоя по другую сторону стола, ответила:

– Перестань паясничать, Монти. Ты был в Скотланд-Ярде?

Приставив к груди револьвер, Дарти несколько раз нажал гашетку. Револьвер оказался незаряженным. С проклятием бросив его на пол, он пробормотал:

– Р-ради детей! – и упал в кресло.

Уинифрид подобрала револьвер и дала Дарти содовой воды. Напиток оказал на него магическое действие. Жизнь его з-загублена. Уинифрид его н-никогда не п-понимала. Если он не имеет права взять ж-жемчуг, который он ей с-сам подарил, то кто же имеет? Он у той девочки, у испанки. Если Уинифрид в-возражает, он ей перережет горло. А что тут такого? (Так, должно быть, и возникло это знаменитое выражение, ибо темны источники даже самых классических изречений.) Уинифрид, которая прошла суровую школу искусства владеть собой, посмотрела на него и сказала:

– Девочка? Испанка? Ты хочешь сказать, эта девка, которую мы видели в «Пандемониуме»? Ну что же, значит, ты – вор и мерзавец.

Это была последняя капля, переполнившая болезненно отягченное сознание; вскочив с кресла, Дарти схватил жену за руку и, вспомнив подвиги своего детства, начал выворачивать ей пальцы. Уинифрид выдержала мучительную боль со слезами на глазах, но не проронив ни звука. Улучив минуту, когда он ослабел, она выдернула руку; потом, встав снова по ту сторону стола, сказала сквозь зубы:

– Ты, Монти, предел всему. (Несомненно, это выражение употреблялось впервые – так-то под влиянием обстоятельств формируется язык.)

Оставив Дарти, у которого на темных усах выступила пена, Уинифрид поднялась к себе, заперлась на ключ, подержала руку в горячей воде, потом легла и всю ночь, не смыкая глаз, думала о своих жемчугах, украшающих шею другой, и о том внимании, которым был, по-видимому, награжден за это ее супруг.

Светский человек проснулся с чувством, что он погиб для света, смутно вспоминая, что его, кажется, назвали «пределом». Он с полчаса просидел в том самом кресле, где он проспал ночь, – это были, вероятно, самые несчастные полчаса в его жизни, потому что даже для Дарти конец представляет собой нечто трагическое, а он понимал, что дошел до конца. Никогда больше не будет он спать у себя в столовой и просыпаться с рассветом, пробивающимся сквозь занавеси, купленные Уинифрид у Никкенса и Джарвейса на деньги Джемса. Никогда больше не будет он, приняв горячую ванну, есть крепко наперченные почки за этим столом палисандрового дерева. Он достал из кармана фрака бумажник. Там было четыреста фунтов в пяти- и десятифунтовых бумажках – остаток суммы за проданную им накануне Джорджу Форсайту половину кобылы, к которой тот, изрядно выиграв в нескольких заездах, не проникся, подобно Дарти, внезапным отвращением. Послезавтра балетная труппа отправляется в Буэнос-Айрес, и он поедет с ними. За жемчуг с ним еще не расплатились; все еще кормили закуской.

Он тихонько поднялся наверх. Не осмеливаясь принять ванну и побриться (к тому же вода, конечно, холодная), он переоделся и бесшумно уложил все, что мог. Жалко было оставлять столько сверкающих лаком ботинок, но чем-нибудь всегда приходится жертвовать. Неся в каждой руке по чемодану, он вышел на площадку лестницы. В доме было совсем тихо, в доме, где у него родилось четверо детей. Странное это было ощущение – стоять у дверей спальни жены, в которую он когда-то был влюблен, если и не любил, и которая назвала его «пределом». Он ожесточил себя, повторив ее фразу, и на цыпочках прошел дальше; но пройти мимо следующей двери было тяжелее. Это была спальня его дочерей. Мод в школе, но Имоджин сейчас лежит там, и осовевшие глаза Дарти увлажнились. Из всех четверых она больше всех была похожа на него своими темными волосами и томными черными глазами. Только еще распускается, прелестная крошка! Он опустил на пол оба чемодана. Это почти формальное отречение от своих отцовских прав было для него очень мучительно. Утренний свет падал на лицо, искаженное истинным волнением.

Не какое-либо ложное чувство раскаяния обуревало его, но естественное отцовское чувство и грустное сознание «никогда больше». Он провел языком по губам, и полная нерешительность парализовала на мгновение его ноги в клетчатых брюках. Тяжело, так тяжело, когда человек вынужден покинуть свой родной дом!

– Проклятье! – пробормотал он. – Я никогда не думал, что до этого дойдет.

По шуму наверху он понял, что прислуга встает; и, схватив оба чемодана, на цыпочках стал спускаться по лестнице. Щеки его были влажны от слез, и это несколько утешало его, словно подтверждая искренность его жертвы. Он задержался немного внизу, чтобы уложить все свои сигары, кое-какие бумаги, шапокляк, серебряный портсигар, путеводитель Рэффа. Потом, налив стакан виски с содовой водой и закурив папироску, он остановился в нерешительности перед фотографией в серебряной рамке, изображавшей обеих его дочерей. Фотография принадлежала Уинифрид. «Ничего, – подумал он, – она может их снять еще раз, а я не могу!» – и сунул ее в чемодан. Потом, надев шляпу, пальто и прихватив еще два пальто, свою лучшую бамбуковую трость и зонтик, он отпер входную дверь. Бесшумно закрыв ее за собой, он вышел на улицу, нагруженный, как никогда в жизни, и свернул за угол подождать, пока покажется ранний утренний кеб.

Так на сорок пятом году жизни Монтегью Дарти покинул дом, который он называл своим.

Когда Уинифрид сошла вниз и обнаружила, что его нет, первым ее чувством была глухая злоба, что вот он улизнул от ее упреков, которые она в эти долгие бессонные часы тщательно припасала для него. Конечно, он уехал в Ньюмаркет или в Брайтон и, наверно, с этой женщиной. Какая гадость! Вынужденная сдерживаться перед Имоджин и прислугой и чувствуя, что нервы ее отца не выдержат этой истории, она не утерпела и днем отправилась к Тимоти, чтобы под великим секретом рассказать теткам Джули и Эстер о пропаже жемчуга. Только на следующее утро она заметила исчезновение фотографии. Что это могло значить? Тщательное обследование остатков имущества ее супруга убедило ее в том, что он уехал без намерения вернуться. Когда это убеждение окончательно окрепло, она, стоя посреди спальни среди выдвинутых со всех сторон ящиков, попыталась уяснить себе, что она, собственно, чувствует. Это было очень нелегко! Хотя Монти и был «пределом», он все же был ее собственностью, и она при всем желании не могла не чувствовать себя

обедневшей. Остаться вдовой и в то же время не совсем вдовой в сорок два года, с четырьмя детьми! Сделаться предметом сплетен, соболезнований! Кинулся в объятия испанской девки! Воспоминания, чувства, которые она считала давно угасшими, ожили в ней, мучительные, цепкие, злые. Машинально задвинула она один ящик за другим, прошла к себе в спальню, легла на кровать и зарылась лицом в подушки. Она не плакала. Что пользы плакать? Когда она встала, чтобы сойти вниз к завтраку, она почувствовала, что утешить ее могло бы только одно: присутствие Вэла. Вэл, ее старший сын, который через месяц должен был поступить в Оксфорд на средства Джемса, сейчас находился в Литлхэмтоне, где преодолевал последние барьеры со своим репетитором, галопом готовясь к экзаменам, как говорил он, заимствуя выражения у отца. Она распорядилась, чтобы ему дали телеграмму.

– Мне надо заняться его костюмами, – сказала она Имоджин. – Я не могу отправить его в Оксфорд одетым кое-как. Там на это очень обращают внимание.

– У Вэла масса костюмов, – ответила Имоджин.

– Я знаю, но их нужно пересмотреть, привести в порядок. Я надеюсь, что он приедет.

– Можешь быть уверена, мама, пулей примчится. Но только он, вероятно, провалится на экзамене.

– Тут уж я ничего не могу поделать, – сказала Уинифрид. – Мне нужно, чтобы он был здесь.

Кинув на мать невинно-проницательный взгляд, Имоджин промолчала. Конечно, тут замешан отец. В шесть часов Вэл действительно «примчался пулей».

Представьте себе помесь Форсайта с повесой – это и будет юный Публиус Валериус Дарти. Из юноши с таким именем вряд ли могло получиться что-нибудь иное. Когда он родился, Уинифрид, пылая возвышенными чувствами и жаждой оригинальности, решила, что назовет своих детей так, как еще никто не называл. («Какое счастье, – думала она теперь, – что я не назвала Имоджин Фисбой».) Но имя Вэла было изобретением Джорджа Форсайта, который всегда слыл остряком. Случилось так, что Дарти, спустя несколько дней после рождения своего сына и наследника, обедал с Джорджем и рассказал ему

о высоких замыслах Уинифрид.

– Назовите его Катон, – сказал Джордж, – это будет здорово пикантно.

Он как раз в этот день выиграл десятку на лошадь, которая так называлась.

– Катон! – повторил Дарти. (Они были слегка навеселе, как принято было говорить даже и в то время.) – Это не христианское имя.

– Эй! – крикнул Джордж лакею в коротких штанах и чулках. – Принесите-ка из библиотеки Британскую энциклопедию на букву К.

Лакей принес.

– Вот оно! – сказал Джордж, тыкая сигарой. – Катон Публиус Валериус, чистокровный, сын Лидии и Вергилия. Вот как раз то, что вам нужно. Публиус Валериус вполне христианское имя.

Дарти, вернувшись домой, сообщил об этом Уинифрид. Она пришла в восторг. Это было так шикарно. И младенца окрестили Публиус Валериус, хотя впоследствии выяснилось, что этот Катон был не самый знаменитый. Однако в 1890 году, когда маленькому Публиусу было около десяти лет, слово «шикарно» вышло из моды, и на смену ему пришло благоразумие; Уинифрид начали одолевать сомнения. Эти сомнения превратились в уверенность, когда сам маленький Публиус вернулся из школы после первого полугодия, горько жалуясь, что ему жить не дают, называют его Пубби. Уинифрид, женщина решительная, немедленно поместила его в другую школу и переименовала Вэлом, так что Публиус исчез даже из инициалов.

В девятнадцать лет это был стройный веснушчатый юноша с большим ртом, светлыми глазами с длинными темными ресницами, с обаятельной улыбкой, с весьма обширными знаниями того, чего ему не следовало знать, и полным неведением того, что знать полагалось. Редко кто из мальчиков был так близок к исключению из школы – милый бездельник. Поцеловав мать и ущипнув Имоджин, он побежал наверх, прыгая через три ступеньки; затем, уже переодетый к обеду, спустился вниз, прыгая через четыре. Ему ужасно досадно, но его репетитор, который тоже приехал в Лондон, пригласил его обедать в «Оксфорд-и-Кембридж-клуб»; отказаться неудобно, старик обидится.

Уинифрид, огорченная и в то же время польщенная, отпустила его. Ей хотелось, чтобы он остался дома, но ей было приятно, что наставник так любит его. Уходя, он подмигнул Имоджин.

– Да, мама, – сказал он, – я видел у кухарки куликовые яйца, оставьте мне парочку к вечеру, я с удовольствием поужинаю. Да, кстати, у тебя нет денег? Мне пришлось занять пятерку у старика Снобби.

Уинифрид, глядя на него с любовной проницательностью, ответила:

– Но, дорогой мой, нельзя же так сорить деньгами, и, во всяком случае, ты не должен платить сегодня вечером: ты же его гость. («Какой он очаровательный и стройный в этой белой жилетке, и эти густые темные ресницы!»)

– Но мы, может быть, пойдем в театр, мама, и я думаю, что мне придется заплатить за билеты, у него насчет монеты слабо.

Уинифрид, протянув ему пятифунтовую бумажку, сказала:

– Ну хорошо, может быть, действительно лучше отдать ему, но в таком случае ты не должен платить за билеты.

Он сунул бумажку в карман.

– Если бы мне и пришлось, я не смог бы. До свидания, мам.

Он вышел, высоко задрав голову в лихо сдвинутой набок шляпе, жадно вдыхая воздух Пиккадилли, как молодой пес, выпущенный на волю. Чудно повезло! После этой грязной, скучной дыры очутиться здесь!

Он встретился со своим наставником, правда, не в «Оксфорд-и-Кембридж-клубе», а в «Клубе Козла». Наставник оказался всего на год старше его – красивый юноша: прекрасные карие глаза, гладко причесанные темные волосы, маленький рот, овальное лицо, томный, безукоризненный, хладнокровный до последней степени, один из тех молодых людей, которые без труда приобретают моральное влияние на своих сверстников. Он чуть не вылетел

из школы за год до Вэла, провел последний год в Оксфорде и Вэлу казался окруженным ореолом. Его звали Крум, и не было человека, который бы умел тратить деньги быстрее. Казалось, это было его единственной целью в жизни, что совершенно ослепляло юного Вэла, в котором Форсайт, однако, держался иного мнения, удивляясь время от времени, где же, собственно, то, за что они платили деньги.

Они мирно пообедали, стильно и со вкусом, выпили каждый по бутылке вина и, выйдя из клуба, попыхивая сигарами, отправились в «Либерти» в кресла первого ряда. Звуки веселых куплетов, зрелище очаровательных ножек затуманивались и пропадали для Вэла за неотвязными мыслями о том, что ему никогда не сравняться с Крумом в его спокойном дендизме. Мечты о недостижимом идеале смущали его душу, а когда это происходит, всегда бывает как-то не по себе. Конечно, у него слишком большой рот, не безукоризненный покрой жилета, брюки не обшиты тесьмой, а на его перчатках цвета лаванды нет черных простроченных стрелок. Кроме того, он слишком много смеется; Крум никогда не смеется, он только улыбается, так что его прямые темные брови слегка приподнимаются, образуя треугольник над опущенными веками. Нет, ему никогда не сравняться с Крумом! А все-таки это замечательно веселый спектакль, и Цинтия Дарк прямо великолепна! В антрактах Крум посвящал его в подробности частной жизни Цинтии, и Вэл сделал мучительное открытие, что Крум, если захочет, может пройти за кулисы. Ему так хотелось сказать: «Послушай, возьми меня с собой», но он не смел из-за своих несовершенств, и от этого последние два акта чувствовал себя просто несчастным. При выходе Крум сказал:

– Еще полчаса до закрытия театров, поедем в «Пандемониум».

Они взяли кабриолет, чтобы проехать сто ярдов, и места по семь шиллингов шесть пенсов, хотя намеревались стоять, и прошли в зал. Вот в таких именно мелочах, в этом полном пренебрежении к деньгам, проявлялась эта столь восхитительная утонченность Крума. Балет подходил к концу и шел в последний раз, поэтому в зале была невыразимая давка. Мужчины и женщины в три ряда столпились у барьера. Вихрь и блеск на сцене, полумрак, смешанный запах табака и женских духов, вся эта увлекательная прелесть толчеи, свойственная увеселительным местам, разогнали идеалистические грезы Вэла. Он восхищенно заглянул в лицо какой-то молодой женщине, обнаружил, что она не так уж молода, и быстро отвел глаза. Бедная Цинтия Дарк! Рука молодой женщины нечаянно задела его руку; на него пахнуло запахом мускуса и резеды. Опустив

ресницы, Вэл украдкой покосился на нее. Может быть, она все-таки молодая. Она наступила ему на ногу и попросила извинения. Он сказал:

– Пожалуйста; не правда ли, какой чудный балет?

– О, он мне уже надоел, а вам неужели нет?

Юный Вэл улыбнулся своей открытой очаровательной улыбкой. Дальше он не пошел – все это было для него еще мало убедительно. Форсайт в нем требовал большей определенности. А на сцене вихрем кружился балет, точно в калейдоскопе, белый, ярко-розовый, изумрудно-зеленый, фиолетовый, и вдруг все сразу застыло неподвижной сверкающей пирамидой. Взрыв аплодисментов – все кончилось. Коричневый занавес закрыл сцену. Тесный полукруг мужчин и женщин у барьера разорвался, рука молодой женщины прижалась к руке Вэла. Чуть-чуть поодаль вокруг какого-то господина с розовой гвоздичкой в петлице царило необычайное оживление. Вэл снова украдкой покосился на молодую женщину, глядевшую в ту сторону. Трое мужчин, взявшись под руки, нетвердой походкой вышли из круга. У того, который шел посередине, были темные усы, розовая гвоздичка в петлице и белый жилет; он слегка пошатывался на ходу. Голос Крума, ровный и спокойный, произнес:

– Взгляни-ка на этого пшюта, здорово он навинтился!

Вэл обернулся; «пшют», высвободив руку, показывал пальцем прямо на них. Голос Крума, как всегда ровный, сказал:

– Он, по-видимому, знает тебя!

«Пшют» крикнул:

– Хэлло, полюбуйтесь-ка, друзья! Этот юный шалопай – мой сын!

Вэл увидел: это был его отец. Он готов был провалиться сквозь малиновый ковер. Не из-за того, что они встретились с ним в таком месте, не из-за того даже, что отец «навинтился»; а из-за этого слова «пшют», которое в эту минуту, словно откровение, показалось ему неопровержимой истиной. Да, отец его действительно имел вид пшюта – красивое смуглое лицо, эта розовая гвоздичка

в петлице и развязная, самоуверенная походка! Не говоря ни слова, Вэл нырнул за спину молодой женщины и бросился вон из зала. Он услышал позади себя оклик: «Вэл!», быстро сбежал по покрытой толстым ковром лестнице мимо капельдинеров – и прямо в сквер.

Стыдиться родного отца – это, пожалуй, самое тяжелое, что может пережить юноша. Бежавшему без оглядки Вэлу казалось, что карьера его кончилась, не успев и начаться. Ну как же он после этого будет жить в Оксфорде среди этих молодых людей, среди этих блестящих приятелей Крума, которые теперь все узнают, что его отец пшют? И внезапно он возненавидел Крума. А кто такой этот Крум, скажите, пожалуйста? Если бы в эту минуту Крум очутился около него, он, несомненно, сшиб бы его с тротуара. Родной отец, его родной отец! Рыдание сдавило ему горло, и он глубже засунул руки в карманы пальто. К черту Крума! Его охватило безрассудное желание побежать назад, разыскать отца и пройтись с ним под руку перед Крумом. Но он тотчас подавил это желание и зашагал дальше по Пиккадилли. Молодая женщина преградила ему дорогу.

– Ты, цыпка, кажется, сердишься на что-то?

Он отскочил от нее, увернулся и сразу остыл. Если Крум посмеет только заикнуться об этом, он его так вздует, что отобьет у него охоту болтать. Он прошел шагов сто, успокоившись на этой мысли, но потом его снова охватило полное отчаяние. Это совсем не так просто! Он вспомнил, как в школе, когда чьи-нибудь родители не подходили под установленную мерку, как это всегда клеймило мальчика. Это то, чего никогда с себя не смоешь. Почему его мать вышла замуж за отца, если он пшют? Это так несправедливо, прямо-таки бесчестно: дать ему в отцы пшюта. Но самое худшее во всем этом было то, что, когда Крум произнес это слово, он почувствовал, что и сам уже давно безотчетно сознавал, что отец его не настоящий джентльмен. Это самое ужасное, что он когда-либо испытал за всю свою жизнь, ужаснее всего, что кому-либо случалось переживать. Удрученный как никогда, он дошел до Грин-стрит и открыл дверь похищенным когда-то ключом. В столовой на столе были аппетитно приготовлены куликовые яйца, нарезанный ломтиками хлеб и масло, а на дне графина немножко виски – как раз столько, как думала Уинифрид, чтобы он мог почувствовать себя мужчиной. Ему стало тошно, когда он увидел все это, и он поднялся наверх.

Уинифрид услышала его шаги и подумала: «Милый мальчик уже вернулся. Слава богу! Если он пойдет по стопам отца, я просто не знаю, что я буду делать.

Но нет, этого не будет, он весь в меня. Дорогой мой Вэл!»

III. Сомс собирается что-то предпринять

Когда Сомс вошел в маленькую гостиную своей сестры, отделанную в стиле Людовика XV, с крошечным балкончиком, всегда украшенным летом цветущей геранью, а теперь заставленным горшками с lilium auratum, его поразила неподвижность человеческого бытия. Все здесь выглядело совершенно так же, как в первый его визит к молодоженам Дарти двадцать один год назад. Он сам выбирал обстановку для этой комнаты и сделал это так основательно, что никакие приобретения в дальнейшем не могли изменить ее атмосферу. Да, он хорошо устроил свою сестру, и это для нее было очень существенно. В самом деле, для Уинифрид было очень важно, что после стольких лет жизни с Дарти она еще сохранила хорошую обстановку. С самого начала Сомс угадал истинную натуру Дарти под этой напускной добропорядочностью, savoir faire[5 - Деловитость (фр.).] и привлекательной внешностью, которые так пленили Уинифрид, ее мать и даже Джемса, что те совершили роковую ошибку – позволили этому молодцу жениться на их дочери, хотя он не принес в дом решительно ничего.

Уинифрид, которую Сомс заметил уже после обстановки, сидела за своим бюро-буль с письмом в руке. Она встала и пошла ему навстречу. Высокая, с него ростом, с выдающимися скулами, прекрасно одетая, но что-то в ее лице встревожило Сомса. Она скомкала письмо в руке, потом, по-видимому передумав, протянула его Сомсу. Он был не только ее братом, но и поверенным в делах. На листе почтовой бумаги «Айсиум-клуба» Сомс прочел следующее:

«Вам больше не удастся оскорблять меня в моем собственном. Завтра я покидаю Англию. Карта бита. Мне надоело терпеть Ваши оскорбления. Вы сами меня довели. Ни один уважающий себя человек не сможет этого вынести. Я больше ничем не буду Вас беспокоить. Прощайте. Я взял фотографию девочек. Скажите им, что я их целую. Мне совершенно безразлично, что будут говорить Ваши родственники. Это дело их рук. Я собираюсь начинать новую жизнь.

М. Д.»

На этом письме, написанном, по-видимому, после хорошего обеда, красовалось еще не совсем высохшее пятно. Сомс взглянул на Уинифрид – пятно от слез, ясно, – и он подавил готовые было вырваться слова: «Скатертью дорожка!» Потом у него мелькнула мысль, что это письмо ставит ее в то самое положение, из которого он так хочет выпутаться: положение неразведенного Форсайта.

Уинифрид, отвернувшись, нюхала маленький флакончик с золотой пробкой. Глухая жалость, смутное ощущение обиды шевельнулось в сердце Сомса. Он пришел к ней поговорить о своем положении, рассчитывая встретить сочувствие, и вот, оказывается, она сама в таком же положении, и, конечно, ей хочется поговорить об этом, и она ждет сочувствия от него. И всегда так! Никому, по-видимому, даже в голову не приходит, что у него могут быть свои неприятности и интересы. Он сложил письмо пятном внутрь и сказал:

– Что все это значит?

Уинифрид спокойным голосом рассказала ему историю с жемчугом.

– Как ты думаешь, Сомс, он действительно уехал? Ты видишь, в каком состоянии он писал это письмо.

Сомс, когда ему чего-нибудь очень сильно хотелось, заискивал перед судьбой, делая вид, что не верит в счастливый исход; поэтому он ответил:

– Не думаю, вряд ли. Я могу попытаться навести справки в его клубе.

– Если Джордж там, он, конечно, знает, – сказала Уинифрид.

– Джордж? – сказал Сомс. – Я видел его сегодня на похоронах.

– Тогда, значит, он сейчас, наверное, в клубе.

Сомс, здравый смысл которого невольно приветствовал догадливость сестры, нехотя сказал:

– Хорошо, я могу заехать туда. Ты что-нибудь сообщала на Парк-лейн?

– Я рассказала Эмили, – ответила Уинифрид, сохранившая «шикарную» привычку называть мать по имени. – С папой мог случиться припадок.

Действительно, все мало-мальски неблагополучное от Джемса теперь скрывали… Окинув последний раз взглядом обстановку, словно оценивая действительное положение сестры, Сомс вышел и направился к Пиккадилли. Спускались сумерки, тянуло холодком октябрьского тумана. Он шел быстро, с замкнутым и сосредоточенным видом. Нужно поскорей разделаться с этим, он сегодня собирался пообедать в Сохо. Узнав от швейцара «Айсиум-клуба», что мистера Дарти не было сегодня, Сомс, бегло взглянув на него, решил спросить, здесь ли мистер Джордж Форсайт. Оказалось, что здесь. Сомс, недолюбливавший своего кузена Джорджа, ибо ему всегда казалось, что тот не прочь поиздеваться над ним, последовал за лакеем, несколько утешая себя мыслью, что Джордж только что схоронил отца. Он, вероятно, получит тысяч тридцать, не считая того, что у Роджера вложено в дело и с чего не взимается налог на наследство. Он нашел Джорджа за столиком; сидя в глубине оконной ниши, Джордж поглядывал на улицу поверх стоящего перед ним наполовину опустевшего блюда с пончиками. Его высокая, массивная, одетая в черное фигура возвышалась почти зловеще, сохраняя в то же время сверхъестественную подтянутость спортсмена. Со слабой усмешкой на мясистом лице он сказал:

– Хэлло, Сомс! Хочешь пончик?

– Нет, благодарю, – пробормотал Сомс, вертя шляпу в руках и придумывая, что бы ему сказать такое подходящее и сочувственное. – Как здоровье твоей матушки?

– Благодарю, – сказал Джордж, – так себе. Тысячу лет тебя не видел. На скачки ты не ходишь. Как дела в Сити?

Сомс, чувствуя, что сейчас посыпятся остроты, уклонился от ответа и сказал:

– Я пришел тебя спросить относительно Дарти. Я слышал, что он…

– Упорхнул! Укатил в Буэнос-Айрес с красоткой Лолой. Счастье для Уинифрид и малюток Дарти. Вот уж сокровище!

Сомс кивнул. Несмотря на взаимную неприязнь, двоюродные братья проникались друг к другу родственными чувствами, когда дело доходило до Дарти.

– Дядя Джемс может теперь спать спокойно, – сказал Джордж. – А тебя он, верно, тоже здорово пощипал.

Сомс улыбнулся.

– Да, ты его правильно угадал, – дружелюбно продолжал Джордж. – Это сущий лоботряс. За малышом Вэлом нужно хорошенько присматривать. Мне всегда было жаль Уинифрид. Мужественная женщина.

Сомс снова кивнул.

– Мне надо вернуться к ней, – сказал он. – Она хотела знать наверно. Теперь можно будет предпринять что-нибудь. Я думаю, здесь не может быть ошибки?

– Верно, как алфавит, – сказал Джордж (он изобрел немало таких странных выражений, которые потом приписывались другим). – Вчера вечером он был пьян как сапожник; но все-таки уехал сегодня утром, отплыл на «Тускароре». – И, вытащив карточку, Джордж насмешливо прочел: – «Мистер Монтегью Дарти, Буэнос-Айрес, до востребования». Я бы поторопился действовать, будь я на твоем месте. И надоел же он мне вчера!

– Да, – сказал Сомс, – но это не так-то просто. – И, уловив в глазах Джорджа, что он напомнил ему о своей собственной истории, он встал и протянул ему руку. Джордж тоже встал.

– Кланяйся Уинифрид и, если хочешь знать мое мнение, не медли, выпускай ее в ближайшем гандикапе на развод.

На пороге Сомс обернулся и искоса посмотрел на него. Джордж снова уселся, глядя прямо перед собой. Он казался таким огромным и одиноким в своем черном костюме. Сомс никогда не видел его таким смирным. «По-видимому, он все-таки огорчен, – подумал он. – Они, верно, получили, если подсчитать все, тысяч по пятьдесят каждый. Им следовало бы сообща сохранить дело. Если будет война, недвижимость обесценится. Впрочем, дядя Роджер был

предусмотрительный человек». И образ Аннет возник перед ним в сгущающейся уличной мгле: ее каштановые волосы, голубые глаза с темными ресницами, свежие губы и щеки, полные, цветущие, несмотря на лондонские туманы, ее изящная фигура француженки. «Пора что-то предпринять!» – подумал он. У подъезда дома Уинифрид он встретил Вэла, и они пошли вместе. Внезапно у Сомса мелькнула идея. Его кузен Джолион – попечитель Ирэн; первый шаг, который необходимо сделать, это поехать в Робин-Хилл и повидаться с ним. Робин-Хилл! Странное, удивительно странное чувство пробудили в нем эти слова! Робин-Хилл, дом, который Босини выстроил для него и для Ирэн, дом, в котором они никогда не жили, – роковой дом! И теперь в нем живет Джолион. Гм! И внезапно он вспомнил: говорят, у него сын в Оксфорде! Почему бы не захватить с собой Вэла и не познакомить их? Вот и предлог! Это будет не так явно, вот именно не так явно! И, поднимаясь с Вэлом по лестнице, он сказал ему:

– У тебя есть кузен в Оксфорде, ты его никогда не видел. Я хочу захватить тебя с собой – я завтра поеду к ним, вы познакомитесь. Для тебя это может оказаться полезным.

И так как Вэл не изъявил по этому поводу никакой радости, Сомс, не давая ему возразить, прибавил:

– Я заеду за тобой после завтрака. Это недалеко – за городом, тебе это доставит удовольствие.

На пороге гостиной он с усилием вспомнил, что шаги, которые ему в данный момент надлежит предпринять, касаются не его, а Уинифрид.

Уинифрид по-прежнему сидела за своим бюро-буль.

– Действительно, это так, – сказал он, – он отправился в Буэнос-Айрес, уехал сегодня утром, нужно устроить за ним слежку, как только он сойдет на берег. Я сейчас же дам каблограмму. Иначе нам это будет стоить уйму денег. В таких случаях чем раньше начать действовать, тем лучше. Я до сих пор жалею, что я не… – Он остановился и искоса взглянул на безмолвствующую Уинифрид. – Кстати, могла бы ты доказать его жестокое обращение с тобой?

Уинифрид безжизненным голосом ответила:

– Не знаю. Что значит жестокое обращение?

– Ну, может, он тебя ударил или что-нибудь в этом роде?

Уинифрид передернулась и стиснула зубы.

– Он выворачивал мне руку. Или, может быть, достаточно того, что он целился в меня из револьвера? Напивался так, что не в состоянии был сам раздеться, или… но нет, я не могу впутывать в это дело детей.

– Не можешь, – сказал Сомс, – нет. Ну, не знаю… Конечно, существует узаконенный разъезд – этого легко можно добиться, но разъезд, гм!

– Что это такое? – безнадежным голосом спросила Уинифрид.

– Это значит, что он лишается на тебя всяких прав и ты на него; вы остаетесь в браке и в то же время как бы не в браке… – Он опять неодобрительно фыркнул. Что это, в сущности, как не его собственное дурацкое положение, только узаконенное? Нет, до этого он ее не допустит. – Нужно добиться развода, – сказал он решительно. – Если ты отказываешься жаловаться на жестокое обращение, остается факт, что он тебя бросил. Теперь не обязательно ждать два года. Попробуем сейчас подать в суд о восстановлении тебя в супружеских правах. Если он не подчинится судебному решению, можно по истечении шести месяцев провести развод. Разумеется, ты не хочешь, чтобы он вернулся. Но они не должны этого знать. Конечно, здесь есть риск – он и впрямь может вернуться. Я бы все-таки выставил мотивом жестокое обращение.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Сноски

1

Конца века (фр.); декадентской.

2

Убежище, кров (англ.).

3

Печать изысканности (фр.).

4

Крюгер (1825–1904) – президент Южно-Африканской Республики до завоевания ее Англией в 1902 году.

5

Деловитость (фр.).

Купить: https://tellnovel.com/golsuorsi_dzhon/v-petle

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити